В. А. ЖУКОВСКИЙ

Отрывки из письма о Швейцарии

Я был в замке Фернее, который нынче принадлежит гражданину Budet. В нем сохранены в прежнем состоянии только гостиная и спальня Вольтеровы; в спальне стоит кровать с полуистлевшим занавесом, на стенах живописные портреты Фридриха II, m-me de Châtelet, тканый портрет Екатерины и несколько гравированных; на печи стоит деревянная, довольно дурная урна, в ней некогда хранилось сердце Вольтера. Теперь осталась одна надпись: «Son esprit est partout et son coeur est ici», но и та до половины уничтожена; от начала пропало son, а от конца ici, и вышла галиматья; в гостиной, где на старинной печи стоит Вольтеров бюст, есть несколько весьма дурных картин, между которыми одна, изображающая Вольтеров апотеоз, заметна своим уродством: Вольтера встречает, кажется, Минерва, а врагов его — Фрерона и прочих секут змеями мстительные гении. Аллея, по которой прохаживался Фернейский пустынник, и липовый лесок, им насаженный, сохранены в целости; надпись, сделанная им над входом построенной им церкви (Вольтер богу), уничтожена философами революции. Почти все дома в Фернее, ныне существующие, построены самим Вольтером.

А. С. ПУШКИН

Монах

ФРАГМЕНТ ПОЭМЫ

...Певец любви, фернейский старичок,
К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь.
Куда, скажи, девался твой смычок,
Которым я в Жан д'Арке восхищаюсь,

Где кисть твоя, скажи, ужели ввек
Их ни один не найдет человек!
Вольтер! Султан французского Парнаса.
Я не хочу седлать коня Пегаса,
Я не хочу из муз наделать дам,
Но дай лишь мне твою златую лиру,
Я буду с ней всему известен миру.
Ты хмуришься и говоришь: не дам...
1813.

Н. М. КАРАМЗИН

Из «Писем русского путешественника»

Кто, будучи в Женевской республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из писателей нашего века?

Я ходил туда пешком с одним молодым немцем. Бывший Вольтеров замок построен на возвышенном месте, в некотором расстоянии от деревни Ферней, откуда идет к нему прекрасная аллея. Перед домом, на левой стороне, увидели мы маленькую церковь с надписью: «Вольтер — богу».

«Вольтер был один из ревностных почитателей божества,— говорит Лагарп в похвальном слове Фернейскому мудрецу.— «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer» (если бы не существовал бог, то надлежало бы его выдумать),— сей прекрасный стих написан им в старости и показывает его философию».

Человек, вышедший к нам навстречу, не хотел было вести нас в дом, говоря, что господин его, которому известная наследница Вольтерова продала сей замок, не велел никого пускать туда, но мы уверили его в нашей благодарности, и в минуту отворилась нам дверь во святилище, в те комнаты, где жил Вольтер и где все осталось так, как при нем было. Комнатные приборы хороши и довольно богаты. В той горнице, где стоит Вольтерова кровать, было погребено его сердце, которое госпожа Денис увезла с собой в Париж. Остался один черный монумент, с надписью: «Son ésprit est partout, et son coeur est isi» (дух его везде, сердце его здесь), а выше: «Mes manes sont consolés, puisque mon coeur est au milieu de vous» (тень моя утешена, ибо сердце мое посреди вас). На стенах висят портреты: первый — нашей императрицы (шитый на шелковой материи, с надписью: «Pressentié à Mr. Voltaire par l'Auteur»,— и на сей портрет смотрел я с бо́льшим примечанием и с бо́льшим удовольствием, нежели на другие); второй — покойного прусского короля; третий — Лекеня, славного парижского актера: четвертый — самого Вольтера и (пятый) маркизы де Шатле, которая была ему другом, и более нежели другом. Между гравированными изображениями заметил я портрет Ньютона, Буало, Мармонтеля, д'Аламберта, Франклина, Гельвеция, Климента XIV, Дидрота и Делиля. Прочие эстампы и картины неважны.— Спальня Вольтерова служила ему и кабинетом, из которого он научал, трогал и смешил Европу. Так, друзья мои!

Должно признаться, что никто из авторов осьмого-надесять века не действовал так сильно на своих современников, как Вольтер. К чести его можно сказать, что он распространил сию взаимную терпимость в верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие, которому еще в начале осьмого-надесять века приносились кровавые жертвы в нашей Европе[1].— Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и неученых; все понимали его, и все пленялись им. Никто не умел столь искусно показывать смешного во всех вещах, и никакая философия не могла устоять против Вольтеровой иронии. Публика всегда была на его стороне, потому что он доставлял ей удовольствие смеяться! — Вообще в сочинениях Вольтеровых не найдем мы тех великих идей, которые гений натуры, так сказать, непосредственно вдыхает в избранных смертных; но сии идеи и понятны бывают только немногим людям, и по тому самому круг действия их весьма ограничен. Всякий любуется парением весеннего жаворонка; но чей взор дерзнет за орлом к солнцу? Кто не чувствует красот «Заиры»? но многие ли удивляются «Отеллу»?[2]

Положение Фернейского замка так прекрасно, что я позавидовал Вольтеру. Он мог из окон своих видеть **Белую** Савойскую **гору** высочайшую в Европе, и прочие снежные громады, вместе с зелеными равнинами, садами и другими приятными предметами. Фернейский сад разведен им самим и показывает его вкус. Всего более полюбилась мне длинная аллея; при входе в нее кажется, что она примыкает к самым горам.— Большой чистый пруд служит зеркалом для высоких дерев, осеняющих берега его.

Имя Вольтерово твердят все жители Фернея. Там, сев под ветвями каштанового дерева, прочитал я с чувством сие место в Лагарповом похвальном слове:

«Подданные, лишенные отца и господина своего, и дети их, наследники его благодеяний, скажут странику, который уклонится от пути своего, чтобы видеть Ферней: «Вот домы, им построенные,— убежище, которое дал он полезным искусствам[3],— поля, которые обогатил он плодами. Сие многолюдное и цветущее селение родилось под его смотрением, родилось среди пустыни. Вот рощи, дороги и тропинки, где мы столь часто его видали. Здесь горестное Калассово семейство окружило своего покровителя: здесь сии несчастные обнимали колена его. Сие дерево освящено благодарностию, и секира никогда не отделит его от корня. Он сидел под его тению, когда разоренные поселяне пришли требовать его помощи; тут проливал он слезы сожаления и скорбь бедных превратил в радость. В сем месте видели мы его в последний раз...» — и внимающий странник, который при чтении «Заиры» не мог удержать слез своих, прольет, может быть, еще приятнейшие в память благотворителя».

Мы обедали в фернейском трактире с двумя молодыми англичанами и пили очень хорошее французское вино, желая блаженства душе Вольтеровой.
1791

А. И. ГОЛИЦЫН

Акростих

Вольно, Волтер, тебя бранить у нас старухам;
Они не делают подрыв твоим стихам.—
Ликуешь в славе ты, твой тон приятен слухам,
Ты Феникс смысленным ученым всем очам,
Единым Квакерам и бородам опасен,
Разить притворство их всегда ты был согласен.
1800.

Вот лишь один из этих сюжетов. Князь Вяземский. Он прожил долгую жизнь, и отношение его к Вольтеру менялось: от обожания и поклонения в юности, до глубочайшего проникновения в судьбу Вольтера, с ее парадоксальностью, с ее тайной — в старости. Он написал о Вольтере статьи, исследования, стихи дифирамбического характера и шуточные тоже. Вольтер олицетворял для него непокорность духа, неприкрытое бунтарство, неподвластность общепризнанным канонам и авторитетам, и главному из них — Церкви. Сказанное вовсе не означает, что князь Вяземский являлся «безбожником». Но его полемика с «православными патриотами»: Каченовским, Шишковым, и иными прочими,— эта непрекращающаяся дуэль ВСЯ шла «через Вольтера».

В 1818 году (князю Вяземскому всего двадцать пять лет) в Париже выходит сборник писем Вольтера, ранее никогда не публиковавшихся. Издатель «Вестника Европы», влиятельного петербургского журнала, М. Т. Каченовский отзывается на сообщение о выходе книги желчной и злобной рецензией: «Фернейский мудрец балагурит по своему обычаю о ТЕРПИМОСТИ: шутит, кощунствует и ничего более...». В том же номере журнала поэт Александр Воейков, друг Вяземского, помещает свои стихи, в которых, в числе прочих «слагаемых», необходимых для воспитания юноши «номильфо», упоминает «и путешествие в Ферней на поклоненье». Вяземский, получив журнал, посылает приятелю письмо, пеняя, что негоже помещать свои стихи рядом со статьей такого человека, как Каченовский: в этом для Вяземского была беспринципность, бесчестность.

Вяземский пишет о сборнике письем собственную статью. Датированная 1819 годом, она впервые увидела свет лишь в 1878-ом в первом томе Полного собрания сочинений Вяземского, единственном его томе, что вышел при жизни писателя: в ноябре того же 1878 года Вяземский умер. 60 лет статья находилась под запретом цензуры. Вся история борьбы за ее публикацию — в письмах тех лет: в переписке Вяземского с Александром Ивановичем Тургеневым, в письмах престарелого Ивана Ивановича Дмитриева, умолявшего всех, кого только мог, дать ему почитать статью Вяземского «про Вольтера».

Еще более поразительно, что, отчаявшись опубликовать статью в России, поняв, что эту каменную стену ему прошибить не удастся, Вяземский несколько лет спустя становится просто условно корреспондентом парижского журнала «Ревю Ансиклопедик». Что это — «первый диссидент»? И кто это придумал, что цензура, преследование «инакомыслия» началось только при большевиках? Они лишь возвели ее в качественно иную степень, вовсе лишенную всяких примет цивилизованности.

После 1878 года статья Вяземского никогда не переиздавалась. Теперь она перед вами. Орфография ее чуть устарела, МЫСЛИ — поразительно современны. Точнее — они ВНЕ ВРЕМЕНИ, и в этом истинная ее ценность.

Вольтер прошел через судьбы очень многих русских писателей: его воспевали и ниспровергали, называли «фернейским старцем» и «орангутанским философом... атаманом многочисленной философической шайки». Среди первых — Александр Пушкин, Евгений Баратынский, Константин Батюшков, Федор Тютчев; среди вторых — К. Пуччова, А. Нахимов, Т. Борноволоков, Н. Струйский, П. Шаликов, М. Невзоров. Кто знает сегодня их имена? Они ушли в небытие, вместе со своими бесталанными опусами, вместе со своей бессильной злобой: злобой посредственностей против Гения.

Хочется вспомнить еще один сюжет. Стихотворение «А. С. Пушкину», которое Василий Львович Пушкин отправил в письме своему племяннику летом 1830 года, оказалось последним, «писанным его рукою». Через несколько месяцев Василий Львович скончался. В этом стихотворении умирающий поэт, с замечательной ироничностью — пушкинской? вольтеровской? — пишет:

«Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер.
Ты остроумие и вкус его имеешь
И нравиться во всем читателю умеешь...».

Остальные сюжеты раскроются перед любопытствующим читателем, когда выйдет наша книга. В ней, помимо библиографических записей, множество текстов, которые в достаточной полноте представляют историю «русского Вольтера»: статьи и письма, дифирамбические оды — и самые разнообразные пародии (Вольтер, как известно, тоже был на язык остер), «хвала и клевета». Словом — вторая жизнь французского писателя: его жизнь в России. И потому 300-летие Вольтера, а родился он 21 ноября 1694 года,— дата не только для французской литературы, но и для русской тоже.

Юрий ФРИДШТЕЙН.

А. С. ГРИБОЕДОВ

П. А. Вяземскому

11 июля [1824]. Петербург

Любезный к[нязь] Петр Андреевич, ...
Эти строчки доставит вам Сосницкий. Примите его в число тех, кого любите. Коли сами в городе, согласите его сыграть Вольтера, роль, в которой он необыкновенно хорош (во втором акте). Вся портретная истина сохранена в точности. Это одушевленная бронза того бюста, что в Эрмитаже. Я бы желал не столько остроты (которой, впрочем, эта комедия не изобилует), но чтобы картина неизбежной дряхлости и потухшего гения местами прояснялась памятью о протекшей жизни, громкой, деятельной, разнообразной. Кто век прожил с бо́льшим блеском? И как неровна судьба, так сам был неровен: решительно действовал на умы современников, вел их, куда хотел, но иногда, светильник робкий, блудящий огонек, не смеет назвать себя; то опять ярко сверкает реформатор бичом сатиры; гонимый и гонитель, друг царей и враг их. Три поколения сменились перед глазами знаменитого человека; в виду их всю жизнь провел в борьбе с суеверием, богословским, политическим, школьным и светским, наконец ратовал с обманом в разных его видах. И не обманчива ли самая та цель, для которой подвизался? Какое благо? — колебание умов ни в чем не твердых??.. Теперь, на краю гроба, среди обожателей, их фимама, их плесков... А где прежние сподвижники, в юности пылавшие также алчностью славы, ума, опасностей и торжеств? И где прежние противуборники? — отцы, деды тех, которые нынче его окружают???

Этого нет в комедии, но есть прозаическое сходство: удивление при встре[че] с любовницею после 60 лет разлуки; самодовольствие Вольтера, что он первый познакомил французов с англичанами, первый был вызван и увенчан в театре; анекдот с перстнем, кофейная острота и проч. мелочь. Как бы то ни было, Сосницкий чрезвычайно хорош и добавляет автора. Не знаю, как вы его найдете?

NB. Пишите же ко мне. Вот я не ленюсь. А кабы теперь был в Москве, сыграл бы в деревне у вас роль старухи-маркизши, Вольтеровой любовницы.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Сфинкс, не разгаданный до гроба,—
О нем и ныне спорят вновь;
В любви его роптала злоба,
А в злобе теплилась любовь.
Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был:
И презирал он человека,
И человечество любил.
1868.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

О новых письмах Вольтера

Издатель одного из Европейских журналов, или правильнее из журналов, издаваемых в Европе (потому что иная книга, несмотря на свое Европейское заглавие, настоящий выходец, или вестник Азии), извещая о появлении двухсот пятидесятн неизвестных писем Вольтера и понятной радости **Французской Минервы,** при неожиданном подарке такого рода сжал свое мнение и негодование в кратком, но выразительном вопросительном знаке, на который по-настоящему отвечать нечего.

И если издатель довольствовался бы сим утонченным усилием гения, то каждому просвещенному читателю пришлось бы при сем вопросительном знаке поставить от себя невольный знак удивления и закрыть книгу; но издатель разными орудиями хотел напасть на Вольтера и прибавил еще несколько замечаний, кои дополняют смысл глубокомысленного знака и вместе с ним составляют целое, совершенно в частях согласное. Например, говоря о письме, которое по словам его напечатано **для пробы** во **Французской Минерве** (как будто письма пробуют?), замечает: **Фернейский мудрец балагурит по своему обычаю о терпимости.**

Не знаю, чему более здесь удивляться: непристойности ли выражения, или мысли, я готов сказать, чувства! Красноречивый защитник Калласов балагурит о терпимости! Если Вольтер в ином отношении и подлежит укорам, то без сомнения правила терпимости, проповеданные им словом и делом, должны перед строгим зерцалом справедливости искупить многие его заблуждения.

Было время, что мы Русские хвалились терпимостию и справедливо: младшие братья Европейским народам, мы по многим отраслям гражданской образованности должны еще у них учиться; но в сем отношении смело можем сказать, что Европейские правительства должны терпимости учиться у нашего. Остроумный племянник Мецената и друга Ломоносова, в известном своем послании к **Нинон Ланкло** говорит с справедливою гордостью:

Un Calas, un Labarre eut vécu parmi nous.

Прав ли я, или нет, не знаю; но мне кажется, что Русские, исповедующие такой образ мыслей, приносят отечеству своему более чести, чем эти запоздалые, ополчающиеся против успехов человеческого разума, эти отступники духа времени, который шагает через них в неодолимом своем стремлении. Далее, приводя похвалы, высказанные Вольтеру писателями **Минервы,** издатель помянутого журнала, без сомнения на этот раз не **Минервою** вдохновенный, от себя прибавляет: **ничто не может быть глупее похвал, подлым пристрастием провозглашаемых.** Трудно тому верить, что нашелся человек, который видит глупость в похвалах, приписываемых Вольтеру, и подлость в пристрастии сограждан его к нему.

Впрочем, всякой видит по-своему: может быть, и у нас отыщется проницательный дальновидец, который откроет пристрастие в приверженности просвещенных наших сограждан к Карамзину, свидетельствующему перед Европою об успехах ума в России. Нелепые ругательства Дефонтенов, Фреронов, Лабомелев, Нонотов и других могут по крайней мере оправданы быть обиженным самолюбием, рассчетами корысти, или ослеплением зависти; но где найти оправдание для нашего современника, который охотою идет оспаривать у Вольтера славу, уже на незыблемом основании утвержденную судом народов и потомства.

Там на невежестве отражался по крайней мере пламень личной ненависти: здесь оно сияет во всем своем мраке. Там грешила совесть: а здесь грешит рассудок, и в этом случае едва ли не скорее можно отпустить грехи совести! Но, впрочем, все эти сообщники обширного и существующего иконн заговора **посредственности** против **превосходства** держатся крепко за руки, минуя пространство веков и отдаления. В каждом из них, кроме полного запаса всех наличных предрассудков настоящего, хранится нечистевший пепел всех предрассудков прошедшего и дремлет в ожидании семя всех предрассудков и предубеждений будущего.

В политике, науках, искусствах, словесности вы всегда найдете их поперек дороги истины: они в безумной отваге силились заслонить небеса от Коперника и Невтона, поверенных небесных тайн; на встречу к Расину, грядущему в храм бессмертия с Федрою, они подвигли Прадона; они те **недоброжелатели,** от коих Ломоносов, как видно из письма к Шувалову, **не имел покоя;** образ представительного правительства и способы взаимного учения в них имеют ныне ревностнейших поносителей.

Троньте одного из них, и они все отзовутся в обширном и неразрывном круге своем. Перестаньте одного в другое столетие, в другой край земли: язык его, оружие, образ нападения изменится, но он не изменит никогда клятве древней вражды своей и последствия будут одинаковы. На лице иного, и не проницая в таинства учения Лафатерова, можно уверительно прочесть, что смотря по времени и месту был бы он Зоилом Гомера, Дефонтеном Вольтера, щепетильным придирщиком Карамзина.

Конечно, иные люди пользуются правом все говорить без возражения. Речь иного входит в одно ухо и выходит в другое. Писанное иным, или вовсе не читается, или тут же при чтении стирается в памяти мягкою губкою забвения. Сколько витийства раздалось и утихло в пустыне.

Не кстати ли будет и искать здесь причины тому, что **россказни Лужницкаго старца** остаются без ответа. Он, может быть, почитает молчание слушателей своих уважением к нему и легко, быть может, ошибается в том. Не молчат ли они скорее из уважения к себе и писателю, коего честь не требует защитников, а благородное хладнокровие оковывает молчанием презрения уста того, который, в справедливом, но необдуманном негодовании, порывался бы отвечать на вызовы темных противников. Подставьте непроницаемые латы ударам безумца: вы ласкаете его безумие, он не заботится о пользе их, но веселится и гордится их шумом. Отойдите, и удары его, теряющиеся тихомолком в воздухе, на минуту позабавят зрителей и скоро утомят его бесплодную ярость.

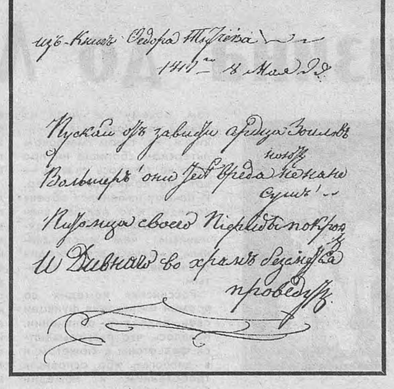
Но если сии правила пристойности и благоразумия запрещают входить с иными противниками в борьбу за личность современника, то там, где идет дело не столько о человеке, как о мнении, долг каждого ревнителя просвещения есть отмстить за истину, оскорбленную проповедниками ложных понятий, говорящими с пыльных кафедр языком умолкнувших столетий. Сие побуждение вложило мне перо и водило моею рукою при начертании сих строк.

Первые 83 из сих ныне изданных писем Вольтера писаны к Бертрану, бывшему в 1744 году проповедником в Берне и советником при короле Станиславе. Бертран многими сочинениями по части естественной истории и физики заслужил отличное уважение от современников своих и был членом разных академий, в то время, по словам издателей писем, когда почесть сия не была наградою незначащего достоинства, как ныне, и академии заимствовали свой блеск от достоинства писателей, в них заседающих.

Другия письма писаны к Даржансону, Дарженталю, Шувалову, Лану, Монкрифу, Неккеру и другим. Все более, или менее носят отпечаток Вольтера: лучше их похвалить невозможно: в сей похвале содержится и уверение, что чтение их равно занимательно быть может для всяких читателей. Ум Вольтера не

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Пускай от зависти сердца зоилов ноют.
Вольтер! Они тебе вреда не нанесут...
Питомца своего Пиериды покроют
И Дивного во храм бессмертья проведут!
1818.



[2] Тогда я так думал.
[3] Известно, что Вольтер принял к себе в Ферней многих художников, которые принуждены были оставить Женеву.

Но я не могу одобрить Вольтера, когда он от суеверия не отличал истинной христианской религии, которая, по словам одного из его соотечественников, находится к первому в таком же отношении, в каком находится правосудие к яберде.

(Окончание на 10-й стр.).